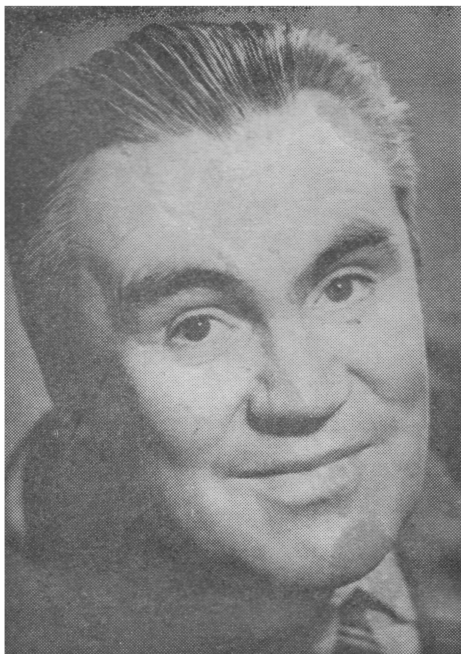


Б И Б Л И О Т Е К А

ОГОНЁК

№ 17

1971



Сергей ВАСИЛЬЕВ

**С А М О Е
З А В Е Т Н О Е**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»
М О С К В А

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 17

Сергей ВАСИЛЬЕВ

САМОЕ ЗАВЕТНОЕ

СТИХИ

Издательство «ПРАВДА»
Москва. 1971

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Сергей Александрович Васильев родился 17 июля 1911 года в Зауралье, в городе Кургане.

Рано лишившись родителей, С. Васильев начал свой трудовой путь подростком. В Зауралье больше жил в деревне, занимался крестьянским трудом, а когда переехал в Москву, в свободное от учебы время работал санитаром в больнице, грузчиком, рабочим на ситценабивной фабрике, позднее — актером, литературным сотрудником на радио.

Учился в школе-семилетке, затем — в Доме искусств имени Поленова. Первые стихи С. Васильев напечатал в 1931 году.

Окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

За сорок лет творческой деятельности С. Васильев опубликовал много сборников стихов, поэм, литературных пародий, в содружестве с композиторами написал ряд широко известных песен.

С первых дней Отечественной войны С. Васильев — сначала рядовой в ополчении, потом армейский поэт и корреспондент центральных газет. Член КПСС с 1953 года.

С. Васильев награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета» и медалью «За отвагу».

За работу в области художественного перевода С. Васильеву присвоено звание заслуженного деятеля искусств Азербайджана



Двадцать три весны уже подогнано
к одному большому знаменателю.
И земля, хитро и занимательно
вся исчерчена, лежит под окнами.
И земля, как черновая рукопись,
непонятная, но вдохновенная,
одержима творческими муками,
не похожа ни на что обыкновенное.

1934

МОРЕ

Я увидел море впервые
(я сибиряк по рождению
и фантазер по призванию).
Впервые сидел я и слушал
вздохи его грудные,
голос его человеческий —
мокрый соленый голос.
И этот, почти материнский,
шелест теплого песка,
который, если глаза закроешь,
можно сравнить с флейтой
искренного музыканта.
И этот самый сложный говор,
который, если глаза закроешь
(если исправно ухо),
можно сравнить с плеском
рыбы в большом тазу.
Я должен признаться: впервые

мне совестно стало, обидно
за то, что, считаясь поэтом,
я так однотонно и плоско
думал об этом море.
О, море меня обмануло —
оно оказалось прекрасней,
сложней, недоступней, проще,
чем мог я себе представить!
И вот, осознав все это,
я тут же поклялся морю
в том, что в ответ на скупость
ранних моих мечтаний,
ранних моих дерзаний
художника и поэта
я смело берусь исполнить
труднейшее из начал:
я смело берусь и гласно
так рассказать о море,
так написать про море,
как до меня никто еще
о море не говорил.
Я камнем скатился к волнам,
рухнул по горло в волны
и, крепко обнявши море,
крикнул в ухо ему:
«Честное слово поэта
даю тебе, Черное море,
что в этих моих рассказах
ты будешь совсем по-иному
жить, голубеть и петь!»
И море не возражало.
Оно, как жена, пригрело
и было отменно свежим,
выглянув горькие губы.
И море не рассердилось:
оно только грозно урчало,
как будто скрывая желанье
заметить мне между прочим:
«Смотри не заройся, парень,
нельзя быть таким поспешным,
нельзя быть таким беспечным —
самонадеянным и смешным».

1935

ЗЕМЛЯКАМ-СИБИРЯКАМ

Я вас славлю за геройство,
за умение воевать,
за решительное свойство
никогда не унывать;
за обычай рвать с размаха
вьюги огненной кольцо
и всегда глядеть без страха
смерти бешеной в лицо;
за любовь к своей винтовке,
за привычку к зимовью,
за хватку, за сноровку,
за находчивость в бою;
за искусство видеть зверя
в глубине лесных берлог,
за умение твердо верить
в свой охотничий зарок;
за упрямый норов ловчий,
перешедший в мастерство,
за особый говор певчий
с ударением на «о».

Я вас славлю за единство,
за пленительный, простой,
братский дух гостеприимства,
за характер золотой;
за выносливость, которой
нет преград и нет застав,
за могучий рост матерый,
за крутой гвардейский нрав;
за испытанный, таежный,
с детства выверенный слух,
за хозяйственный, надежный
ум, который лучше двух.

Славя вас и воспевая,
я горжусь, что у меня
есть такая боевая,
знаменитая родня!

1942

ТРОЕ У КОСТРА

У костра сидели трое.
Три гвардейца. Три героя.
После легкого раненья
каждый малость похудал,
каждый, кончив курс леченья,
догонял подразделение,
от которого отстал.
Ордена на гимнастерках.
Свой у каждого горох,
сахар свой, своя махорка,
а костер один на трех.
На горячий уголек
был поставлен котелок.
В котелке уже кипело,
но на пробу не поспело.
— Да,— сказал крымчак,— года,
не забыть их никогда!
— Да,— волжанин отозвался,—
в сорок первом-то году
я, как в Горьком призывался,
не имел того в виду,
что три года с лишним мне
жить придется на войне.
— Много ждал, теперь немножко,
скоро точка так и так! —
в котелке мешая ложкой,
отозвался сибиряк.
Помолчали, покурили
и опять заговорили:
— Как оглянешься, ребята,
ох, и важный мы народ!
Друг за друга, брат за брата,
и ничто нас не берет.
Всем известно: немец — сила,
но сломили и его.
— С непривычки трудно было,
а привыкли — ничего!
— Да, браток, а ведь, бывало,
хоть ложись да волком вой.
Помню, наша часть стояла
по-над Западной Двиной.
Завязалась работа
у побережья на косе.

Немцев — полк, а наших — рота,
и припасы вышли все.
Справа — немцы, слева — тоже,
и к отходу путь закрыт.
«На штыки одна надежа!» —
командир нам говорит.
Словом, так, что или-или:
либо яма, либо гать.
Наспех мы перекурили
и пошли снопы кидать.
Так им дали, что едва ли
каждый третий уцелел!
— В сорок первом им давали,
а теперь сам бог велел!..
Улыбнулись. Помолчали.
Хлеб достали из мешка.
Не спеша на землю сняли
котелочек с уголька.
Ложки весело достали,
с аппетитом похлебали,
и заснули у костра,
и проспали до утра.
Одному приснился тополь,
птица чайка на лету,
милый город Симферополь
весь в сиреновом цвету.
А другому, молодому, —
старый дом на бугорке,
верба в серьгах возле дома,
волжский берег в ивняке,
малых волн призыв печальный,
звон далекой наковальни,
на черемухе щеглы,
запах дегтя и смолы.
И себя увидел в лодке
в вышивной косоворотке
и ее вблизи, рядом,
в красном платье, босиком.
Третий спал без сновиденья.
Сны считал он пустяком,
недостойным сожаленья,
третий был сибиряком.

1945

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

Гром пушек смолк. Победным светом вещим
озарены просторы нив, полей и рек.
И первого, кому мы рукоплещем,
мы называем: русский человек.
Вот он стоит, отвагою богатый,
сто тысяч верст проделавший пешком,
застенчивый, немного угловатый,
с челябинским иль волжским говорком.
Мне все в нем любо: жар его природный,
и грусть его, и давняя мечта
о счастье, о свободе всенародной,
и искренность его, и широта.
И выдумки его, и присказки, и пенье
протяжных песен о своей судьбе,
и гордое его многотерпенье,
не знающее равного себе.
В дни обороны, в пору наступленья
порыв и месть шагали в ногу с ним.
Он был всегда примером вдохновенья
многоплеменным братьям боевым
Он все прошел. Он видел в жизни виды.
Он испытал в решительном бою
и гнев святой, и ярость от обиды,
и скорую отходчивость свою
Он правды добивался неуклонно,
как верный страж своей родной земли.
Не потому ль насильников знамена
к его ногам (в который раз!) легли
Гордись, мой друг, что ты есть сын России,
сын рек ее, лесов, озер и нив,
что ты прошел сквозь ливни грозовые,
усталой головы не наклонив.
Пускай тебя кружили непогоды,
но счастлив будь безудержно, до слез,
что принял ты в младенческие годы
благословенье северных берез.

1945

ПРЯМЫЕ УЛИЦЫ КУРГАНА

Сестре Марии

Кургана улицы прямые!
Увидев вновь вас, понял я
с особой ясностью впервые,
что это родина моя.
Все тот же дом последний с края
все та же верба сторожит.
Здесь дым младенчества витает
и прах родительский лежит.
Босыми шлепая ногами
по теплой пыли городской,
я здесь пронес сиротства камень
и холодок любви мирской.
Но я ничуть не укоряю
ни мрак нужды, ни холод зим,
я все теперь благословляю
и все считаю дорогим.
Здесь знаю я любые вышки,
любой забор, любой квартал,
здесь я читал еще не книжки,
а только вывески читал.
Я здесь могу найти вслепую
любое прясло с деревцом,
любую песенку, любую
калитку с кованым кольцом.
Здесь дождевой порою вешней
на толстых сучьях тополей
крепил я легкие скворечни,
гонял со свистом голубей.
Да, я люблю любовью давней,
без всякой ложной похвальбы
и эти створчатые ставни,
и телеграфные столбы,
и крыш убранство жестяное,
и звон бубенчиков в ночи,
и в небо ввинченный ночное
бурав пожарной каланчи.
Прямые улицы Кургана!
Я вновь и вновь на вас смотрю
и говорю вам без обмана,
как сестрам брат, вам говорю:

хотя внезапная разлука
и разделила вас со мной,
мне не забыть родного звука,
метели посвист ледяной.
И если есть во мне хоть малость
того, что следует беречь,
так это ваша власть сказалась
и отложилась ваша речь.
И если ярость азиата
во мне, как брага, разлила,
так это ваша виновата
сквозная даль и прямота.

1946

МОЙ НОВОГОДНИЙ ТОСТ

Бьет копытами у ворот
необъезженный Новый год,
стригунком храпит у дверей,
синий пар валит из ноздрей.
Трезвый месяц глядит в окно,
в толстых рюмках горит вино.
На столе пироги велики,
за столом сидят земляки.
— Ну, скажи! — говорят они.—
Только очень-то не тяни!
Поднимаюсь и говорю
прямо на ухо январю:
— Мой новогодний тост
сразу — за зюйд и ост!
За светлый герб золотой
нашей земли святой.
За русский неистовый наш простор,
за сосны в снегу,
за розы в цвету,
за крымский миндаль,
за курганский бор!
За чистую длинную эту деревню,
вставшую под бугром,
за коронованные деревья
кованым серебром!
За награжденное это небо
блеском отважных звезд,

за согревающий запах хлеба
мой новогодний тост!
За молчаливых моих земляков,
за хлеборобов и рыбаков,
за тех, кто пришел и кто был сражен,
за их терпеливых жен.
За зоркость стрелка, за топор дровосека,
за мудрость того, кто открыт и прост,
за настоящего человека
мой новогодний тост!

Курган
1946

В ЛЕСУ

Нет, что бы домоседы мне ни пели,
навстречу искрометному лучу
в воскресный день,
 в свободный день недели,
я все равно за город укачу.
На ясный праздник утра расписного,
в немолчный грай,
 в зеленый рай лесной,
за сотню верст от шума городского,
на нежное свидание с весной.
Не называй меня угрюмым нелюдимом,
в хоромы-терема не зазывай.
Окутанный весенним теплым дымом,
мне дорог лес,
 как дорог отчий край.
Под заповедным тополем плечистым
готов я недвижимо наблюдать
пронизанную щебетом и свистом
лесной зари застенчивую стать.
И дятла стук
 раскатисто-протяжный
на одиноком ясене сухом,
и муравья поспешный бег отважный
по голому песку порожняком,
и влажных листьев тонкое свеченье,
и робких трав сквозное волокно —
все, все прямого смысла и значенья
и откровенья доброго полно.

На смену отпылавшему закату
выводит время легкий диск луны.
И вот уже, созвездьями богата,
ступает ночь по тропам тишины.
Легла роса на листовенную крышу,
выходит крот, надежной тьмой укрыт.
Задумчив лес.

И скоро я услышу
трель соловья, поющего навзрыд.

1954

* * *

Четыре десятка прожито,
пятый десяток начат.
Виски прихватила изморозь,
а это, бесспорно, значит:
юность умчалась-канула
в блеске огней сигнальных.
Старость еще на подступах,
но уже не на дальних.
То, что вчера тревожило,
не удивляет ныне.
Прежнего легковерия,
стало быть, нет в помине.
Все учтено, проверено...
Но почему ж в итоге
вместо успокоения
только одни тревоги?
Вьется у изголовия
замыслов вереница.
Тянет куда-то в непогодь,
и по ночам не спится.
Мало и скупю радуюсь,
глупую спесь отбросив,
еще держусь под бременем
струдившихся вопросов:
верится или кажется?
Видимость или призрак?
Или опять кружение
путаных слов капризных?
Гладкопись на поверхности?
Или находка в недрах?

Кто это, друг испытанный?
Или давнишний недруг?
Птицей лечу под облаком
или сажу на бревнах?
Или бреду по берегу
редких удач неровных?
Хочется и не терпится
твердым владеть огнивом.
Жизни не жаль, но только бы
быть до конца правдивым.
Вот и бросаюсь сызнова
в зной и в разгул метели
на разъездные поиски
трудной желанной цели.

1956

* * *

Уже давно пора в снежки играть,
а я пишу
«Осеннюю тетрадь».
Случилось так, к иному чувства немы,
поскольку не исчерпал темы.
Мороз.

Пурга.

Продрогшее стекло
немыслимым узором расцвело:
то видятся хрустальные торосы,
то папоротники льдистые,
то розы.
А если дверь глухую отворю
и выйду в лес
навстречу декабрю,—
в холодном свете весело блистая,
слепит глаза сухих снежинок стая.
Где рдела осень,
там белым-бело,
по пояс пням сугробы намело,
на желтых волнах облетевшей меди
они лежат, как белые медведи.
...Загадывал, когда решил начать,
весь новый цикл скорей отдать в печать.

Но нет,
погас веселый бег работы.
В поэзии, видать, сложны расчеты.
Вот так и в жизни.
Метишь в срок, а глядь,
уже отстал. Стараешься догнать,
а ноги подгибаются в коленях
и мучает одышка на ступенях.

1956

С ОХОТЫ

По асфальтовой дороженьке прямой
возвратились мы в Москву к себе домой.
До того измучен этот и другой —
ни рукой не шевельнуть и ни ногой.
Сколько верст
то ивняком.
то сосняком,
то в набухших сапогах,
то босиком,
то в обход,
то по болоту напрямиком
мы за сутки отработали пешком!
Не сердитесь, жены милые, на нас,
пыл характера оставьте про запас,
мы уже не в тине, не в пыли,
с подбородков всю щетину соскребли,
смыли начисто присохший молочай
и немедленно,
но как бы невзначай,
одолев усталость с горем пополам,
приросли к заветным письменным столам.
Пригодились беспокойному перу:
голос филина, услышанный в бору,
росомахи след, увиденный на пне,
промельк щуки в черной заводи,
на дне,
трепет розовой осины над водой,
где стремительно пронесся козодой,
флейты к западу легевших журавлей
над жнивьем безмолвных, горестных полей,

тонкий месяц, украшающий стога,
как каленая цыганская серьга.
Любо-дорого

осенним вечерком
над притихшим хлопотать черновиком,
заревую даль писать не с потолка,
а вдыхать в строку живые облака,
не искусственных событий прочить нить,
а верстать пережитое и гранить,
не высасывать из пальца

и не лгать,
а правдивое и точное слагать,
в меру сил стараясь передать
грозовой,
родной природы благодать.

1956

НА ПЕРЕЛЕТ!

Что ж поделаешь: привычка!
Даже в поздний час, во сне,
диких уток перекличка
не дает покоя мне.

Только стихну, только лягу,
только чуть сомкну глаза,
вижу утреннюю тягу,
слышу кряквы голоса.

Что ж томиться? Все готово:
патронташи на столе,
два ствола, застыв сурово,
дремлют в кожаном чехле.

Путь на озеро разведан,
вымпел поднят. И уже
заскучавшая «Победа»
бьет копытом в гараже.

1956

ЧУДО ЖИВОГО СЛОВА

Памяти Владимира Яхонтова.

Вот она, последняя афиша,
мокрым ветром скрученная в жгут.
Голос ваш все дальше, глуше, тише.
А поклонники еще стоят и ждут.
Как же так?

Талантом вы богаты,
Вам бы жить да жить еще, а вы...
Впрочем, судьи тут и адвокаты
не нужны, затем что не новы.
Не воротишь окриком судейским
эту жизнь, ушедшую тайком,
этот пыл в союзе с чародейским,
богом данным, точным языком.
Как легко и верно вы читали!
Так вели живого слова строй,
что его тончайшие детали
нам казались музыкой порой.
Вдохновенный,
сдержанный,
крылатый,
несравненный голос ваш погас,
но остался отзвук-завсегдатай
в сердце тех, кто слушал вас не раз.
Как же надо было вам стараться,
как любить
рожденный в муках стих,
чтобы после смерти оказаться
среди нас, оставшихся в живых!

1956

КОММУНИСТ

Быть коммунистом нелегко, мой друг,
служить народу — дело не простое,
Широк больших обязанностей круг,
упрямо чуждых праздного застоя.

Тебя, бойца, таким, каков ты есть,
по-матерински партия взрастила.
В тебе живут ее порыв и честь,
ее огонь, ее любовь и сила.
Она тебе присвоила черты,
отмеченные страстью постоянства,
вооружила свойством простоты,
лишила спеси и дурного чванства.
Ты плоть ее от корня до ветвей,
которые не гнутся, разрастаясь.
Не уживутся с совестью твоей
ни ханжество, ни мелочная зависть,
но если вдруг на склоне, у межи,
ты, оступившись, станешь виноватым,—
признай свой грех, признай без тени лжи,
останься правдолюбом и солдатом.
Познав урок партийного суда,
постыдно лицемерить не умея,
ты будешь с той минуты навсегда
во много раз и чище и сильнее.
Ты коммунист. Ты попросту вожак.
И если уж достиг такого званья,
неси его в душе не просто так
а как печать почета и признанья.

1957

* * *

Я никогда не знал и не искал покоя.
Наоборот,
наоборот —
своею жесткою,
безжалостной рукою
бросал себя в водоворот.
И плыл,
не просто примечая по дороге
все то, что издали видно,
а подгробал к себе
кувшинки-недотроги
и на середке
мерил
дно.

1958

ТЕРПЕНИЕ

Ты говоришь, что все трудней писать,
что не дается нужная строка.
Вот, кажется, она уже близка,
ан вырвалась, коварная, опять
и дразнится, маня издалека.

А ты терпи коварству вопреки,
держи на взводе хитрый карандаш,
иначе потеряешь власть руки
и дорогое золото строки
другому, терпеливому, отдашь.

1958

ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ

Он, к счастью, в среде нашей редок,
скрипит, как пила о наждак:
и то ему вроде не эдак,
и это как будто не так.

Все то, что приметно и ново,
заведомо чуждо ему:
и строят у нас бестолково
и учат совсем не тому.

Он ест украинскую вишню
и тут же, вахмурясь слегка,
находит, что вишня излишне
для раннего сорта сладка.

Он хлещет отличное пиво
и злобно трясет бородой:
мол, пиво по цвету красиво,
но все-таки пахнет бардой.

Он даже при случае хает
московское наше метро:
отделки, мол, верно, хватает,
богато, а все же пестро.

Он морщится, ропщет, и злится,
и ноет без тени стыда:
вот, дескать, я был за границей,
так это действительно да!

Конечно, такой мне не пара,
не друг, и не сват, и не брат,
и встретиться с ним у бульвара
я был, безусловно, не рад.

Он шел в бледно-розовой шляпе,
бочком и чуть-чуть семеня.
— Чем занят на данном этапе?! —
ехидно спросил он меня.

— Пишу,— говорю,— и читаю,
Хочу побывать в мастерах,
а кроме того, выступаю
на разных больших вечерах.

— Ого! Высоко забираешь!
Да ты, брат, я вижу, того!
Поэт и трибун! Выступаешь!
А можно узнать — за кого?!

Я, глядя в глаза краснобаю,
сказал без нажима, но всласть:
— За кого, говоришь, выступаю?
Да все за Советскую власть!

1958

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

У меня на голубятне
девятнадцать голубей,
восемнадцать чистокровных,
девятнадцатый —

плебей.

У хохлатого плебей
разнесчастная судьба:
и коты его трепали,

и терзали ястреба,
и сороки нападали
неизвестно почему,
и мальчишки из берданки
сдуру били по нему.
Дважды вывихнута лапка,
трижды ранена спина,
под крылом сидит дробина
и,

наверно,

не одна.

Он и стрелян, он и щипан
и в неравных схватках терт.
Весь в рубцах.

А на работе —
настоящий пестрый черт.

Чуть подсвистну —

и взвывается

ввысь под купол голубой
и всю стаю, как на нитке,
так

и тянет

за собой!

Увезу,

пущу на волю

на пятнадцатой версте,

возвращусь —

сидит хохлатый

у крылечка на шесте.

Подниму с нагула в бурю —

ну,

кажись,

ищи-свищи.

Нет, бродяга, чешет к дому,
словно камень из пращи.

С виду голубь неказистый,

рядовая птичья стать —

ни породистого клюва,

ни повадки не видать.

На луня похож немного

и немного на сову.

Но, однако, Ветераном

я его всерьез зову.

...Мне на днях один любитель

крикнул запросто с утра:

Зато здесь веселятся
водители такси.
Попарно пляшут лихо,
смеются бубенцом
кондуктор с поварихой,
модистка с продавцом.
Почти благоговейно
играют в домино
буфетчик из кофейной,
швейцар из казино.
Вот к ним-то в клуб впервые
и заявились мы
как гости из России —
писатели Москвы.
Вопросов и ответов
пошел круговорот.
Рассказывать об этом,
клянусь, устанет рот.
Потом возник любовно
знакомой песни взмах
о наших подмосковных
зеленых вечерах.
Итало-русский говор
поплыл, переплетясь,
окрасив в добрый колер
душевной дружбы связь.
И я подпел, стараясь,
волненья не тая,
испытывая зависть,
что песня не моя.

Флоренция
1962

ДОМ ПОЛИНЫ ВИАРДО

Меж тихим Версалем
и шумным Парижем,
в безвестном почти городке Буживале,
под сенью каштанов и лип,
на пригорке
оставил
недавно
я сердца частицу.

А как это вышло?

Да проще простого:
на мраморе гладком увидел я надпись,
вещавшую кратко о том, что здесь умер
великий писатель России — Тургенев.
От острого чувства внезапности, что ли,
я обмер сначала, заметив, однако,
что, скорбную надпись с волнением читая,
друзья мои тоже

чуть-чуть оробели.

Но вот сообщая мы звонок отыскивали,
нажали на кнопку, позвали консьержку
и вежливо очень ее попросили
впустить нас

во двор двухэтажного дома.

— Нет, нет! — отвечала служанка сурово.—
Хозяева дачи сегодня в Париже,
и мне не позволено — боже избави! —
впускать

любопытных

людей посторонних.

— Послушай, красотка!—

взмолились мы хором.—

Не тронем мы собственность строгих хозяев.
Никто не намерен из нас покушаться
на ветхое частное это владенье.
По правде сказать, мы не любим имущих,
не чтим патентованный культ капитала,
но этот

запущенный,

горестный домик

нам самых бесценных брильянтов дороже.
Впусти нас!

Мы только приблизимся к камню,
запомним

старинных колонн построенье,
поклонимся шатким дощатым ступеням
и сразу

на цыпочках

выйдем

из сада!

— Нет, нет! —

завела было снова консьержка,
но, тут же заметив, что к пламенной просьбе

прибавились круглые новые франки,
державной рукой отворила калитку.
И вот я стою
среди пылающих листьев,
среди вянущих трав,
за чугунным забором,
вблизи от печального, скромного дома,
где некогда жил мой земляк знаменитый.
Как трудно дышать почему-то на взгорье,
как сердце стучится в груди учащенно,
а ум

лихорадочно

быстро рисует
далеких возможных мгновений картины.
По этой вот узкой тропинке, наверно,
за тем вон крутым поворотом, быть может,
шагал он,

задумчиво глядя на землю,
заветные мысли свои выверяя.
Иль,

может быть,

за полночь сидя в беседке,
ловил заповедные звуки рояля,
летающие

следом

за меццо-сопрано
на лунной волне соловьиного лада.
Мелодия плавно лилась и привольно.
То пела его золотая Полина,
любовь беспредельная, лада-певунья,
далече увлекшая милого друга.
Ах, как хороши были розы на клумбах,
как свежи в своих подвенечных нарядах,
махровые,

пряные,

пьющие вдоволь
ночную росу лепестками живыми!..
Сгущаются алые краски заката,
редеют гудки теплоходов на Сене,
на гриву травы, на зеленый пригорок
ложится прохлада вечернего часа.
А я все стою, шевельнуться не смея,
как будто меня невзначай обступили
Лаврецкий и Рудин, Матрена и Лиза,
Калиныч и Жорь, и другие герои,

Но ведь те, что под навесом, в холодке, в тени стояли,
не другой, а тот же транспорт с тем же чувством ожидали.
Почему же, ожидая, человек с лицом пылавшим
не посмел пришвартоваться к господам, в тени стоявшим?

Почему свернул в сторонку и остался лишь прохожим?
Потому, что был прохожий от рожденья чернокожим.

Атланта — Москва
1965—1966

ОТ БЕРЕГА К БЕРЕГУ

По следам Маяковского
и Есенина
объехал я
и облетел Америку
в будний день, в воскресенье,
от берега к берегу.
Разглядел ее, белую и черную,
одноэтажную и небоскрежную,
от Нью-Йорка
до Калифорнии
расписному холсту подобную.
Не скрываю, порой действительно
ощущал ее райской кущею,
а порой
наповал, разительно
увидал преисподней сущюю.
Рядом с новшеством
до головокружения
паутина мещанства лепится.
То — величие,
то — унижение,
то — безвкусица,
то — нелепица.
То расчетливо и напористо
возвышается,
мчится,
катится,
с иступленной несется скоростью,
то плетется, как каракатица.

То своим козыряет именем,
на чужую отсталость сетуя,
то в поступках своих, как минимум,
отстает от других на столетия.

1966

РЕКИ-ЧЕЛОВЕКИ

Мы Волгу да Дон славословим богато,
а есть ведь Онега, Катунь, Селенга.
У рек этих дивных свои перекаты,
свои — да какие еще! — берега.

В завалах черемух. В навесах сосновых.
В соцветье листвы. В ожерелье хвои.
По каменным руслам в зеленых паневах
несут эти реки богатства свои.

И влаги в тех реках, и силищи много,
и струи на стрежне винтом завиты,
и стелется водных раздолий дорога,
баюкая баржи, качая плоты.

Да чибис над плесом. Да чайка над буем.
Да терпкий устойчивый дух черемши.
Но мы эти реки вниманьем минуем,
а если и вспомним, то так, без души.

Есть люди, похожие очень на реки,
то бишь на Онегу, Катунь, Селенгу.
По многим приметам они — человеки,
однако про это никто ни гугу.

И если случится пирог премиальный
на красном пиру иль заздравный сосуд,—
Онегу, Катунь, Селенгу машинально
с улыбкой, с поклоном, а все ж обнесут.

И что? Ничего. Перемогут обиды,
махнут на обнос незлобивой рукой.
«Что ж,— вымолвят,— нет, значит, волжской

и нету удачливой дали донской!»

планиды

Встряхнутся. Расправят затекшие плечи,
проверят в ладонях надежность весла
и ринутся новой работе навстречу
по бурной струе своего ремесла.

1968

ЛЮБЛЮ БАКУ

Люблю Баку не потому,
что здесь отрадно, как в Крыму,
Наоборот —

здесь ветер зол
и дым нередко застит взор.
Но ветра свист и дыма след
не омрачают город, нет, —
я ощущаю в них всегда
неутоленный ритм труда.
Стоит Баку на берегу,
одевшись в раду-ду-ду,
врезая в плес береговой
серпообразный облик свой.
Боготворю Баку за то,
что на его крутом плато
зажглись, насилью вопреки,
рабочих стачек маяки.
До сей поры, до сей поры
горят далеких дней костры,
живут отважные сыны
в сердцах народов всей страны.
Люблю Баку за то, что тут,
оберегая редкий труд,
провидец Киров в должный срок
покой Есенина сберег.
Боготворю Баку за то,
что здесь незримо разлито
в союзе с дивом южных роз
дыханье северных берез.
Люблю Баку за то, что здесь
передо мной раскрылся весь
и принял в свой лукавый мир
печальник нации — Сабир.

Люблю воитель-город за
бакинцев знойные глаза,
в которых вдруг отражены
и нефть и лунный блеск волны.
Люблю за острый запах смол,
за восклицание «Саол!»,
за одобрение «Яхши»,
за музыкальный строй души.

1969

РОДНИК

Нету Асеева. Нету.
Нету.
Зови — не зови...
Рыщет по белому свету
оклик сыновней любви.
Где же он, добрый наставник,
где же он, труженик злой,
крестный дебатов недавних
с редкой своей похвалой?
Некому взять меня в клещи
за онемевшим столом,
с ласковым ропотом вещим
жару задать поделом.
Нету ни скрипа калитки,
ни перещелка замка,
ни запоздалой открытки,
ни затяжного звонка.
Затканы в сумерки, сиры,
недоуменно глядят
окна московской квартиры
на безответный закат.
Может, зайти наудачу:
«Вот я!» — и вся недолга?
Может,
уехал на дачу?
Может,
махнул на бега?
Нету на Каме, на Волге,
нету у крымских холмов...
Замерли чинно на полке
пять тяжелых томов.

Ну-ка, возьми из-за створки
в руки любой из пяти,
сядь и от корки до корки
с тихим вниманьем прочти.
Хлынут с отверстой страницы
и завладеют тобой
вдумчивых красок зарницы,
кованых звуков прибой
Трогай, лови,

соучаствуй,
вольною грудью вбирай
гомон хмельной и гривастый,
помнящий жизнь через край.
Чуешь, как утренней ранью,
дивно свежа и легка,
снегом,

полынью,
геранью
терпкая пахнет строка?
Как набегают кругами
то холодище, то зной,
то нестерпимое пламя,
то низовик ледяной?
Слышишь, как в дымке предгрозя,
словно летя на пожар,
вскачь подпевают полозья
говору синих гусар?
Веришь, как, трогая хвою,
сквозь колчаковский заслон
в темь уползает тайгою
храбрый Проскаков Семен?
Видишь, как в рост, по-бойцовски
(время ему нипочем!)
к Пресне идет Маяковский,
день подпирая плечом.
Где же Асеев?

Далече...

Лишь в тишине, как впервой,
бьется родник его речи,
плещется голос живой.

1969

СО Д Е Р Ж А Н И Е

«Двадцать три весны уже подогнуто...»	3
Море	3
Землякам-сибирякам	5
Трое у костра	6
Русский человек	8
Прямые улицы Кургана	9
Мой новогодний тост	10
В лесу	11
«Четыре десятка прожито...»	12
«Уже давно пора в снежки играть...»	13
С охоты	14
На перелет!	15
Чудо живого слова	16
Коммунист	16
«Я никогда не знал и не искал покоя...»	17
Терпение	18
Ответ по существу	18
Девятнадцатый	19
В рабочем клубе	21
Дом Полины Виардо	22
Воочию	25
Человек второго сорта	26
От берега к берегу	27
Реки-человеки	28
Люблю Баку	29
Родник	30

Сергей Александрович Васильев
САМОЕ ЗАВЕТНОЕ

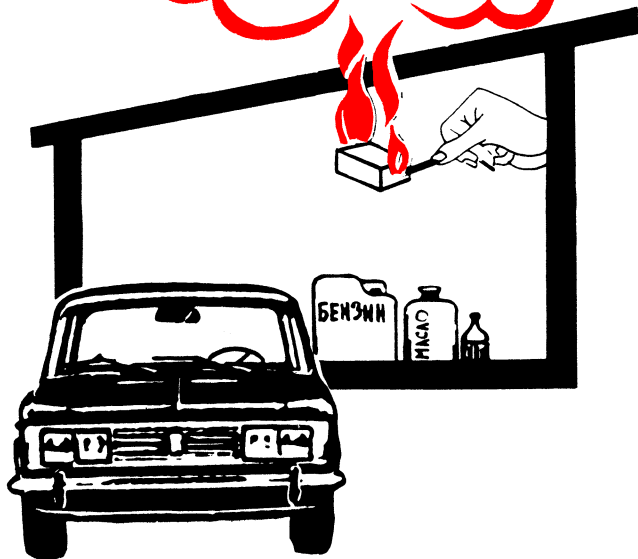
Редактор — **П. А. КРАВЧЕНКО.**

Технический редактор **Я. М. Борисов.**

Сдано в набор 16/VII 1971 г. А 00597. Подписано к печати 25/VIII 1971 г.
Формат бум. 70×108¹/₃₂. Объем 1,40 условн. печ. л. 1,74 учетно-изд. л.
Тираж 100 000. Изд. № 1803. Заказ № 1623.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ГСП.
ул. «Правды», 24.

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ
С ОГНЕМ



В ГАРАЖАХ